

ОГОНЁК

№ 28 ИЮЛЬ 1990



**СЛЕД
НА ЭТОЙ
ЗЕМЛЕ**

В «Большом Жанно», в этой «повести об Иване Пуцине», странно и привлекательно переполненной самим автором Натаном Эйдельманом, его мыслями и страстями, его, как мы выражаемся, «комплексами», есть замечательное место. Пуцин, сам тому несколько удивляясь, вспоминает, что 14 декабря на Сенатской, где судьбы трагически переламывались, где ожидалась то ли победа, то ли, что куда вероятнее, гибель, «было весело». Смеялись, шутили, чуть не озоровали. «Чем дальше и страшнее — тем веселее мне было». Больше того: «Именно у самого конца, когда уж стемнело, — апогей надежды и стало быть веселья!»

Сам Эйдельман прожил счастливую, веселую жизнь — об этом нынче, поминая его, говорят многие, и это чистая правда, — при том, что так много досталось ему злого, несправедливого, даже унижительно-го. Не говоря, может быть, о главном (хотя все это вместе и образует главное — общую нашу обездоленность добром), не ходя дальше его публикации, которая перед вами, скажу, что он почти всю свою жизнь пребывал «невъездным». Это он-то, можно сказать, гений архивных разысканий, которого сама зазывавшая его за граница прельщала не только новизной впечатлений, до коих он тоже был по-детски жаден, но больше и прежде всего стремлением порыться в тамошних архивах и сыскать нечто бесценное...

Однако я — о его веселости, чья причина, быть может, наиглавней-



«Когда человек умирает, изменяются его портреты» (Ахматова). И слова, казавшиеся при жизни не слишком серьезными, кажутся или оказываются пророчествами. Одна из последних фраз, которую Натан сказал жене, когда его везли на «скорой», была: «Вот видишь, я же всегда говорил, что умру в пятьдесят девять». Да, говорил. И объяснял: не он сам, а его герои, люди, о которых он писал не потому, что выбирал их (наоборот, они выбирали его), подсказывают ему его судьбу. Александр Герцен, Иван Пуцин, Михаил Лунин, Николай Карамзин умерли в этом возрасте или около того. Но кто из нас думал, что это окажется правдой? Вообще — пока ваш друг рядом с вами, пока вы, по общей дурацкой привычке отделиваясь взаимными шуточками, старательно скрываете, до какой степени любите, уважаете его, преклоняетесь перед ним, способны ли вы загодя вообразить, как обездолит, опустошит вас его смерть, сделав одинокими на миру?

А Натан даже мешал этому сознанию. Мешал тем, что был легким, — не потому, что была легка его жизнь, напротив, потому что умел легко нести и выносить доставшиеся ему тягости, несправедливости, оскорбления. Вернее, умел казаться легким, — думаю, не так уж много людей понимало, какой ценой доставалась эта легкость. Теперь-то поймут: объяснит нелепо ранняя смерть, сердце, которое терпело и не вытерпело. Разорвалось.

шая, была в том же, чем объяснял свою легкость, казалось бы, уж никак не приличествующую моменту, Пуцин: «поводом к веселью было, думаю, чувство, что выбор сделан и дело сделано: худо-бедно, а сделано».

Да! Натан Эйдельман был человеком безошибочного выбора — я не только о призвании говорю, тем паче, что непонятно, кто тут кого выбирает: человек ли свое призвание или призвание — человека. Весьма и весьма доступный самокопанию и самоосуждению, в одном Эйдельман не колебался никогда: высказаться или промолчать, поступить так или этак, идти ль по прямой или обогнуть опасное место: абсолютное чувство нравственного превращало в ненужность даже доводы логики, каковыми мы так часто прикрываем свои сомнения, усталость или робость.

Выскажу то, что высказывать трудно, ежели не рискованно. Я ловлю себя на ощущении: всякая новая беда, приключившаяся после смерти Натана Эйдельмана (кончина Сахарова... кровь в Закавказье... да хоть бы и погромно-победный энтузиазм «Памяти»), сопровождается в моем сознании мыслью: хорошо, что Эйдельман этого не узнает... Нет, нет, тут не до утешений, я их и не хочу; просто знаю, какой непосильной мукой обернулось бы для него все это, столь несопоставимое. Все мы страдаем, как умеем: он, человек счастливый в работе, в любви, в друзьях, страдал бы — да и страдал без всякого «бы» — мучительней нашего. Вот мы и живы, а он умер.

«Время лечит». Возможно. Но я сторонюсь этой умудренности и не хочу подниматься выше тех слов, что написал (но не опубликовал) на другой день после смерти Натана. Вот эти:

«Противоестественнейшее из самых противоестественных состояний, когда проклинаешь и презираешь свое литературное ремесло: ушел... Да не ушел, нечего прятаться: умер твой друг, а ты сидишь и подбираешь слова. В минуты, когда и слов-то нету, не должно быть, когда естественней всего помолчать.

Тем не менее произнести придется: Эйдельмана больше нет среди живых. Он умер, не дожив до шестидесяти, и всем нам, из которых больше всего мне думать о его восьмидесятивосьмилетней маме, предстоит еще это осознать. Потому что пока не осознали.

Придет время, которое не надо торопить, и мы поймем, что сделал Натан Эйдельман для русской культуры. Мы найдем слова, которые точно обозначат его место в ней. Впрочем, главное даже не в степени или ступени. «Я наконец в искусстве безграничном достигнул степени высокой», — говорит неглупый персонаж российского гения, изучению которого Эйдельман отдал, по сути, всю свою жизнь; у него, у Сальери, хватает ума понять: искусство безгранично, но не хватает мудрости, дабы осознать: коли так, высота степени — дело десятое. Эйдельман сумел добиться того, что выше всяких честолюбий: он стал необходимым звеном нашей культуры. Представить себе, что его могло не быть, невозможно.

Я сейчас думаю о многих, которых его смерть ударит, осиротит, и, зная, что никого не обижу, говорю им: умер лучший из нас. Самый добрый. Самый совестливый. Наверное, и самый талантливый. Мы можем сколько угодно утешать себя тем, что остались книги, часть которых еще не вышла; можем, наоборот, терзаться сознанием, что восхитительные его замыслы не будут реализованы. То и другое справедливо. И совершенно несправедливо то, что все это сейчас кажется второстепенным по сравнению с тем, что нет и больше не будет удивительно яркого во всех своих проявлениях, шумного, живого Натана. Но горе не располагает к рассудительной взвешенности.

Мне жаль всех нас, друзей и читателей Эйдельмана; мне эгоистически жаль себя самого. Нам придется привыкнуть к мысли, что его нет. И это ужасно.

30 ноября 1989 года».

...А все-таки и с «веселости» я, наверное, начал не зря — тем более с той, что, как сказано, укреплялась, «чем дальше и страшнее». «Именно у самого конца... апогей надежды».

Натан Эйдельман был оптимистом, отличаясь и этим от многих из нас. Я, например, в самые черные минуты кидался звонить ему, а уж он четко и толково, обращаясь к закономерностям истории, убеждал, что все идет именно так, как и должно идти, и то, что кажется предсмертной судорогой, есть симптом неизбежного выздоровления.

Вот и поэтому тоже его сегодня так мучительно недостает.

Станислав РАССАДИН

ТАКИЕ ЛЮДИ...

Натан ЭЙДЕЛЬМАН

Недавно я вернулся из Стэнфордского университета, где в течение более чем двух месяцев ежедневно, кроме выходных дней, работал в архивах входящего в этот университет Института войны, мира и революции — Института Гувера. Создатель его Герберт Гувер, известный американский деятель АРА, организации, которая стремилась помочь

России в послереволюционные годы. На создание этого института Гувер пожертвовал крупные суммы денег. Были и другие жертвователи, что позволило в результате создать могучий архивный центр. Если иметь в виду русские материалы, то это безусловно архив номер один на земном шаре. Русских материалов, конечно, немало и в других архивах, например, в Колумбийском университете в Нью-Йорке, в Национальной библиотеке в Париже. Но Гуверовское хранилище — это не просто уникальная коллекция. Американцы тратили свои деньги не только на приобретение уже готовых материалов. Специально заказывались и щедро оплачивались самые разные мемуары.

И прекрасно! Страшно подумать, каких драгоценных документов, воспоминаний, свидетельств мы могли бы недооценить.

Помню, лет пятнадцать назад я был на одном узком совещании историков, и кто-то из участников пожаловался: «Мы читаем только нашу литературу, разрешенную к выдаче в Ленинской библиотеке. А вот американцы и французы читают у себя то, что мы читаем, плюс то, что у нас лежит в спецхране, и плюс то, чего у нас и в спецхране нет. Естественно, они куда более эрудированы». На это председатель собрания возразил: «Зато мы не пускаем их в свои архивы». Тут кто-то спросил: «А они нас?» Было сказано, что наши не

особенно-то и едут. Ну, время тогда было, конечно, иное. Теперь ездят много, часто, но и сегодня продолжается сложившаяся традиция: во Францию едут наши специалисты по Франции, в Америку — по Америке и так далее. Неудобно, что ли, признавать нам, что за границей великое множество русских документов? К счастью, традиция эта уже нарушается. Сегодня ездят специалисты и по русской культуре. Я, разумеется, не первый.

Итак, изначальный крупный фонд, который поступил в архив Гувера, — это архивы русских посольств в Париже, Вашингтоне, посольств, которые прекратили свою деятельность, так как власть переменилась.

Затем уже упомянутая АРА, много помогавшая Советскому Союзу. Председатель АРА Голдер несколько лет провёл в нашей стране, и, как сейчас выяснилось, некоторые деятели культуры и искусства, опасаясь обысков, отдали ему свои мемуары, когда в 1923 году он уезжал отсюда. В частности, в архиве Гуверовского центра профессор Терри Эммонс совсем недавно обнаружил сенсационный материал, который уже издан по-английски и, надеюсь, выйдет и у нас. Это дневник крупнейшего российского историка Юрия Владимировича Готье, ученика Ключевского, академика, умершего во время войны. Он вел дневник с 1917 по 1923 год. Каждодневное описание событий с точки зрения человека «из бывших», масса интереснейших наблюдений. И хотя там есть множество вещей, которые нам сегодня читать не слишком приятно, другого столь сенсационного дневника крупного ученого, жившего в то интересное время, мы не знаем.

Затем в Гуверовский архив стали поступать самые разные документы эмиграции.

И тут я вступаю, так сказать, в сферу чекотливую. До сих пор об эмигрантских архивах, эмигрантских материалах мы говорили свысока: «Несмотря на то, что он находился в эмиграции, он сохранил любовь к родине...» Отсюда ясно, что тот, кто не пошел в эмиграцию, эту любовь безусловно сохранил. Но это, как известно, далеко не безусловно...

Я думаю, пора уже внутренне покончить с идеей о том, что эмиграция — это нечто низшее, требующее извинения. Очень многие документы, сохраненные эмиграцией, стали тем культурным фактором, за спасение которого ей надо сказать спасибо.

Хочу назвать хотя бы некоторые материалы. Огромный фонд семьи Струве, Петра и Глеба. Материалы знаменитого революционера-террориста, в основном разоблачителя разных тайн, в частности тайн, связанных с Азефом, Владимира Львовича Бурцева, который боролся с царизмом, но с 25 октября 1917 года боролся с правящим режимом. Гигантские материалы «Народной воли», Веры Николаевны Фигнер. Эмигрантская библиотека. Архив генерала Андерса, богатейшие материалы о Польше, материалы Геббельса. Перечислять их — дело пустое. Эти материалы нужно всячески находить, вылавливать, бороться за составление справочников по эмигрантским изданиям. Тем более что если справочники эти раньше не выдавались, то теперь мы дожили до времени, когда их, к счастью, стали выдавать. В Ленинской библиотеке все более и более заполняется шкафчик, на котором написано: «Издания, переведенные из специального хранения в общедоступ». В частности, одно из таких переведенных изданий — список русских материалов в архивах США. Довольно большую часть этого списка занимает как раз опись русских материалов Гуверовского центра.

Удивительна судьба многих документов. Проходят десятилетия, и они приобретают особенную роль. Вспоминаю эпизод, только что ставший мне известным. 1939 год. Начинается советско-финская война. Прямо скажем, не самая яркая страница отечественной истории. Как позже назовет ее Твардовский — «та война незначительная». Двухмиллионная Финляндия против двухсотмиллионного Советского Союза. Разумеется, никаких протестов, в том числе и литературных, в нашей стране в это время и быть не могло. А вот 31 декабря 1939 года в известной парижской газете «Последние новости» был напечатан протест против вторжения советских войск в Финляндию, где говорилось: «Позор, которым покрывает себя сталинское правительство, напрасно переносится на поработанный им русский народ, не несущий ответственности за его действия. Мы утверждаем, что ни малейшей враждебности к финскому народу, к его правительству, ныне героически защищающим свою

землю, у русских людей никогда не было и быть не может». Под этим документом подписываются Зинаида Гиппиус, Тэффи, Бердяев, Бунин, Зайцев, Алданов, Мережковский, Ремизов, Рахманинов, Набоков. Я считаю, что русская литература может гордиться этим документом. И таких примеров довольно много, поэтому не будем вздыхать об эмигрантских судьбах, начнем со вздоха о самих себе.

Подвигом множества людей, и особенно тех, кто участвовал в революции, было само создание архива в Стэнфорде — скопление там гигантского количества рукописей, которые погибли бы либо пропали, либо — увы — еще много лет пролежали бы в спецхране. Говоря об этих архивах, которые так нужны стране и культуре, я прежде всего скажу о двух людях, чье собрание там представлено. Это Борис Иванович Николаевский и Николай Владиславович Вольский, известный под псевдонимом Валентинов. Эти фамилии есть во многих книгах, справочниках Полного собрания сочинений Ленина. Валентинов — один из обруганных героев «Материализма и эмпириокритицизма»: Валентинов, Юшкевич, Базаров.

Кто же эти люди? Прежде всего они долго прожили, что вряд ли им удалось бы при других обстоятельствах. А долгая их жизнь была для них, если можно так сказать, производственной необходимостью.

Николаевский родился в 1887 году в Орловской губернии в семье священника. Умер в Стэнфорде в 1966-м. Его жена, Анна Михайловна Благина, еще несколько лет продолжала его дело, пока его фонд не поступил в Гуверовский институт. Николаевский был меньшевик, возражал против большевистских методов революции, против определенных принципов, провозглашенных большевиками. Тем не менее он считал, что может остаться в России и принести ей пользу. С 1917 по 1919-й он был директором Историко-революционного архива. Потом вдруг попал в тюрьму, раз-другой. После второго выхода из тюрьмы он переехал в Берлин, но до 1932 года оставался корреспондентом Института марксизма-ленинизма, и в наших журналах и газетах появлялось много статей за его подписью. С 1932 года его статьи уже не появлялись.

За это время он собрал огромную коллекцию рукописей. Его личность не затерялась среди войн, революций, наступавшего фашизма, кризисов. Он казался таким же основательным, как сам Центр истории на бульваре Перонде-Росс. Один из корреспондентов писал, что своим невозмутимым, спокойным характером Николаевский вызывал у людей доверие. Он казался незыблемым и вечным. Борис Иванович Николаевскому стали сдавать свои архивы те, кто опасался, что бумаги их вот-вот пропадут: жена Плеханова, эсеры, даже кое-кто из большевиков. Несли бумаги анархисты, потомки Герцена, Радищева. Не случайно к нему на беседу пришел Николай Иванович Бухарин во время своей последней зарубежной поездки.

Когда в Германии победил фашизм, Николаевский переехал во Францию, а оттуда в Соединенные Штаты. Часть материалов ему удалось вывезти, а часть осталась во Франции, была обнаружена фашистами и в конце концов стала нашим трофеем. Во всяком случае, мне известно, что в Центральном архиве Октябрьской революции и в Институте марксизма-ленинизма сосредоточены собрания рукописей Б. И. Николаевского. По всей видимости, это, во-первых, документы, отражающие связь Николаевского с советскими научными учреждениями до начала 1930 годов, а во-вторых, вполне вероятно, что это и есть та часть архива, которая была спрятана Николаевским во Франции в 1940 году.

Николаевский вывез сотни тысяч документов. Гуверовский институт взял

его на службу с условием, что он будет комплектовать и расширять этот архив, а затем завещает свой архив институту. Знаменитый корреспондент Гаррисон Солсбери, живший в Москве, говорил: «Да я в Москве и одной десятой не вижу и не понимаю того, что видит и понимает Николаевский, сидя в Калифорнии».

Николай Владиславович Валентинов, из дворян Тамбовской губернии, живший по соседству с Плехановым, знавший Ленина, вначале большевик, потом меньшевик, — тоже крайне интересная фигура. Он был отличным экономистом. С Лениным он крепко рассорился в 1904—1905 годах, по поводу чего написал интереснейшую книгу «Встречи с Лениным». Извлечение из нее было у нас напечатано — тот фрагмент, где приводятся высказывания Ленина о Чернышевском. Как экономисту-теоретику, Валентинову очень не понравился военный коммунизм и очень понравился нэп. На исходе нэпа он написал письмо Ленину, и — у нас нет оснований не верить этому — Мария Ильинична ответила ему, что Ленин был тронут этим письмом. Валентинов был заместителем главного редактора «Торгово-промышленной газеты», крупным работником ВСНХ, где проработал много лет. Он говорил: «Нас была группа инженеров, экономистов, преимущественно меньшевиков, к счастью, нас защищал, одобряя нашу работу, председатель ВСНХ Дзержинский. И мы считали, что, хотя мы не большевики, но коль скоро мы с ними, приносим пользу России, то дело, может быть, сделаем». Но уже двигались тучи. Валентинов благодаря хорошему знанию языков, благодаря личной дружбе с Рыковым отправился корреспондентом ВСНХ в Париж. В 1931 году, когда назрел процесс меньшевиков, он решил остаться за границей, сильно бедствовал, побывал в «перемещенных лицах», но, сохранив полную ясность ума, прожил долгую жизнь — с 1879 по 1964 год.

Валентинов собрал архив не такой большой, как Николаевский, но все же — более трех тысяч документов.

Собрания этих двух людей представляют, я бы сказал, украшение Гуверовского архива.

Довольно рано эти два замечательных человека начали переписываться. В одном из первых писем в 1945 году Валентинов пишет Николаевскому: «Мы с вами больше других знаем, что творится в России, но на самом деле мы не имеем права с уверенностью говорить о чем-либо, что творится в этой стране. Там, в СССР, происходит что-то важное, но у нас нет органа для восприятия этого важного, важнейших элементов познания советской действительности, и познания внутрисоветских отношений у нас нет».

Приглядываясь к этим людям, чьи имена были до недавнего времени у нас запретными, я понял, в чем состоит их исключительная роль, которая сейчас с каждым днем увеличивается. В 1948 году Валентинов писал: «Никто ничего не знает, почти никто не уцелел. Поэтому наша задача как можно больше сохранять». Господи, как тогда они были далеки от нас, и казалось бы, что нам за дело, что они там собирают. Но вот проходит двадцать, тридцать, сорок лет, и выясняется, что это делалось для нас.

Некоторое время назад, выступая с трибуны Съезда народных депутатов, Валентин Распутин, желая, видимо, как-то подчеркнуть недостатки Съезда, сравнил его с Государственной думой. Но Государственная дума — первый шаг к российской демократии, и шаг достаточно крупный. Сказав — грузины, мол, пусть не обижаются, но они ведут себя, как Чхейдзе, Распутин полагал, очевидно, что грузины невероятно обидятся сравнением их с крупным меньшевиком, председателем Учредительного собрания Грузии, потом эмигрантом, покончившим жизнь самоубийством скорее всего от тоски по родине. А между тем мы сейчас совершенно

иначе смотрим на значение и роль таких людей, как Чхейдзе.

В «Московских новостях» было недавно сказано, что уже реабилитируем троцкистов, бухаринцев, но почему не меньшевиков и эсеров? Само слово «реабilitируем» предполагает некую вину, некое прощение. Многие же из этих людей — примечательные и удивительные люди русской культуры с огромными знаниями, подчас уникальными...

И Николаевский, и Валентинов, оба пишут замечательно, главное — неравнодушно. У Валентинова слог ярче, недаром он работал у Власа Дорошевича в «Русской мысли», в «Русском слове». Просто очень талантливый писатель. Николаевский же скорее сухой ученый.

Читаем их письма дальше. Валентинов пишет: «Кто бы мог представить себе, что ультрареволюционные наши российские республиканцы, свергатели самодержавных тронов, снимавшие корону и голову с царя Николая Второго, что они через пятнадцать лет превратятся в рабов, и со смертным страхом, невероятным пресмыкательством и дрожью будут ползать на коленях перед вышедшим из их же среды красным царем, всемогущим диктатором Сталиным».

А вот другое высказывание, которое как-то и неудобно читать при живом авторе, но уж очень здорово написано. «Дорогой Николай Владиславович, — пишет Нина Берберова Валентинову 4 сентября 1953 года, — меня так восхищает в вас то, что вы не лезете никуда со своим литературным самолюбием, которого у вас нет, потому что вы счастливейший из смертных. Вы осуществили себя во всем, не затаили про себя обиду на мир и людей. Не затаили зла на его источник, и знаете, что все — суета сует, что важно в жизни — только прежде всего освобождение личное, которое у вас, конечно же, осуществлено, как ни у кого на свете. Что вы стали свободным, познавшим истину — сами знаете, какую. Что вас не мучит по ночам мысль, что вам было уготовлено место Маленкова, которое у вас отняли злые бляки, которым вы непременно еще покажете, и проч. и проч. Боже, как чудно жить на свете таким людям, как вы, и, может быть, я, которые не ждут увидеть лишней раз свое имя в печати и не ждут двух строк в Британской энциклопедии, а радуются любви, солнышку, дружбе, собственному настроению и познанной истине. Напишите мне в двух словах, понимаете ли вы, о чем я сейчас говорю, права ли я. Уверена, что и на то, и на другое вы ответите утвердительно. И не накажите меня пожалуйста молчанием».

Вот такое у них, эмигрантов, было напряженное и нервное рассматривание России. Но когда Дмитрий Иванович Чижевский — ученый, который был у нас обруган десятикратно как ярый антисоветчик, пишет в хрущевские времена (в 1960 году) Николаевскому: «Ну что в России изменилось? Это сталинизм без Сталина», Николаевский отвечает ему: «Нет, все-таки это не так. Почитайте теперешнюю их беллетристику, почитайте их лирику. Это люди, дорвавшиеся до свежей воды, после длительных скитаний по пустыне. А ведь при Сталине на всякие личные чувства и переживания был в общем наложен запрет. Потому что люди, которые имеют такие переживания, куда менее пригодны для сталинских экспериментов».

И Николаевский, и Валентинов были уверены, что сохранить и записать надо все. Только Николаевский считал, что писать нужно объективно, а Валентинов возражал: «Всякое личное воспоминание должно быть правдивым и художественным. Оно неизбежно должно исходить не из холодного рассудка, а именно из страстей, присущих пишущему. Тогда это будет его правда».

Какие же материалы они собрали? Смерть Николая I; убийство Александра II; Герцен и Огарев; княгиня Юрьевская, морганатическая жена Александр-

ра II, умершая в 1922 году, у нее сохранился обширный архив (уезжая после убийства Александра II из России, она все увезла с собой). Масса материалов, связанных с Горьким, в том числе поразительные письма писателя по поводу процесса эсеров в 1922 году, когда Горький пишет Рыкову, что нельзя давать интеллигенцию в нашей неинтеллигентной стране: «Они очень ценны, поймите это!». Масса материалов имеется по 1917 году. Рассказы десяти авторов о заложниках во времена военного коммунизма. История князя Долгорукого, в 1926 году перешедшего границу с целью выяснить, как обстоят дела в Советском Союзе, — его расстреляли в ответ на убийство Войкова. Огромный архив на НКВД, боксов десять по меньшей мере: структура, зарплата, воспоминания сотрудников, список личного состава, составленный Николаевским по разным источникам.

Огромная картотека от Жданова до Берии.

Трагические происшествия тридцатых годов — стихийные бедствия, взрывы, крушения, о которых не упоминалось в советской печати. Огромный материал по ГУЛАГу. Обширный польский материал. Николаевский к тому же написал небольшую работу о Маленкове. В общем, от Радищева до Брежнева. Самая древняя рукопись, которую я нашёл, — это список «Путешествия из Петербурга в Москву». (Кстати, любопытнейший эксперимент проделал Бурцев, этот страстный разоблачитель всех правительств. Сидя в тюрьме, сначала в царской, потом в советской, он перевёл «Путешествие из Петербурга в Москву» на современный язык, чтобы легче было читать его любимую книгу.)

Я уже упомянул, что Валентинов написал биографию Ленина. У нас она пока ещё выйти не сможет: Валентинов пишет про авторитарность Ленина, про его талантливость, и пишет искренне. Он сам пошел за Лениным и объясняет почему. «Ведь мы окружены людьми, которые хныкают, которые ничего не знают, которые говорят, кто же покажет? Приходил Владимир Ильич, молодой, энергичный и говорил — так и так. У него была ража». И Валентинов, споря с Николаевским по вопросу о роли личности в истории, категорически настаивал, что без Ленина в России не было бы революции: «У него была ража, гипноз, он мог бы и десять революций сделать. Я вам точно говорю, гипноз». Потом Валентинов с Лениным разругались, но перед смертью помирились.

Есть в Гуверовском архиве несколько неизвестных писем Горького к Ленину, где Горький ругается с Лениным, сравнивает его с протопопом Аввакумом, пишет, что он, как протопоп, со всеми шел на кулачки, что он, Горький, так не может, это не интеллигентный разговор.

В 1961 году Валентинов пишет Николаевскому: «Вот тут не знаю, поместят ли мое сочинение. Коммунистическим изданиям нужно, чтобы я был полный апологет, а другим изданиям надо, чтобы я мазал черной краской. А сказать по правде, ну как я могу отрицать, что Ленин был мне крайне симпатичен». И далее в скобках: «И сознаюсь, при том, что я совершенно не принимаю его систему, я не могу отделаться от этой симпатии и сегодня».

И Валентинов, и Николаевский ставили своей задачей изучать Ленина как человека, совершившего революцию, как великую личность. Им это было важно и интересно, и при этом они были совершенно свободны. Во многих письмах они спорят, от кого пошла идейная родословная Ленина. Николаевский все-таки делает упор на марксизм. А Валентинов говорит: народничество плюс Чернышевский, плюс якобинцы.

После войны во Франции усиливаются коммунистические настроения, масса эмигрантов получает советские паспорта. Валентинов пишет: «На нас косятся: почему мы не едем в Советский Союз? Моя Валентина Николаевна,

у нее есть две вещи, которых она ждет: во-первых, что нас вышлют в Советский Союз, а во-вторых, что Сталин будет короноваться в Успенском соборе. Но я надеюсь, что минет нас чаша сия».

И вдруг элегическая нотка, грусть по России. Валентинов — Николаевскому: «Вот вы один из немногих людей, которые пили чай и заедали яблоками: это по-нашему, по-тамбовски».

И снова в переписке тема нэпа. Валентинов: «Мы впряглись в нэп. Значит, мы ошиблись, когда думали, что это всерьез и надолго, а Сталин все скрутил. Мы допустили страшную ошибку, мы не понимали». Но любопытная нравственная патетика: «Ну и что, надо было эмигрировать? Следовало ли впрячься в нэп? Следовало». Это, наверное, весьма нравоучительно и вполне применительно к сегодняшнему дню. Ведь результат никогда не известен, окончательные результаты вообще невозможно предсказать. Мысль остается, идея остается, неудача тоже остается. Но все сделать для успеха — это нравственно. Помочь крестьянам, помочь развитию рынка.

Валентинов и Николаевский опрашивали многих эмигрантов целенаправленно, тщательно изучали прессу. Кстати, крупнейшей частью этого архива являются, строго говоря, вещи неархивные, уже опубликованные. У Николаевского, например, можно найти все сколько-нибудь интересные вырезки из всех газет мира о деле Берии. С его, Николаевского, собственным комментарием. Его, кстати, интересовало, какой была бы программа Берии в случае прихода к власти. В частности, по ряду источников он «нащупал» ряд демагогических, как он написал, «движений в сторону мужика» — роспуск колхозов и что-то в этом роде.

Читая огромное количество материалов по тридцатым годам, я вдруг неожиданно для себя начал соотносить их с современностью. Иногда и не хочешь сопоставлять, но сравнение выходит само собой. Вот, например, запись Валентинова, как будто нигде не опубликованная: «Весной 1931 года в Закавказье, в Армении, в районе медных рудников Зангезура, произошло громадное землетрясение. Несколько тысяч человек из живущего здесь армянского населения были убиты и ранены. Погибли многие тысячи скота, десятки селений разрушены до основания, население осталось без очага, пищи и крова. Сверху был дан приказ не плодить тревожные сведения. Советская пресса молчала, ничего не сообщала о землетрясении. Армянская коммунистически настроенная писательница Маризтта Шагинян все-таки решила замолвить слово перед Кремлем в пользу несчастных соотечественников. Она хотела показать, что разоренное население Зангезура нуждается в скорой помощи, и особенно палатках, чтобы не ночевать в горах под открытым небом. Но как только Шагинян решилась на такой призыв, перед ней сразу стал труднейший вопрос, в какой форме бросить SOS. Можно ли было крикнуть: «Помогите голодным несчастным людям, потому что эти люди ваши братья»? Подобный аргумент был в то время неубедителен и никакой цены не имел. Жалостью к человеку никого не проймешь. Тем более не проймешь толстую, жирную кожу господ из Кремля. И вот Шагинян постаралась сделать так, чтобы на призыв власти обратили внимание. И она начала говорить и писать не о страданиях людей, а о страданиях меди. Она написала, газета «Известия» 9 мая 1931 года: «Затягивая помощь Зангезуру, затягиваешь выполнение плана по меди. Каждая палатка над лишенной кровя крестьянской семьей будет сейчас агитировать за лишний пуд меди, и каждая ночь, проведенная под открытым небом, неизбежно сорвет нам этот пуд меди». Валентинов завершает: «В немногих словах видно многое». Так неожиданно связь времен выступает сама собой.

Так же, как и сообщения десяти че-

ловек о чудовищном взрыве, который произошел 23 августа 1939 года на Магаданском рейде, что, разумеется, стало государственной тайной и практически никому не известно до сих пор. Погибло три или четыре тысячи человек. Причем об опасности такого взрыва предупреждали заранее. После него последовали еще и казни. Однако частично об этом печаталось в эмигрантском «Социалистическом вестнике», который выходил с 1921 года по 1965-й и где увидело свет немало публикаций.

Многое мы знаем из того, о чем писали друг другу Валентинов и Николаевский. Но есть вещи, о которых, мне кажется, мы знаем меньше. «Кроме массы всяческих беззаконий, связанных с коллективизацией, убийством Кирова, — пишет Николаевский, — следует говорить также о ряде планомерных огромных операций, которые в известном смысле подготовляли массовые операции по различному выселениям во время войны». Во-первых, сообщается о выселении корейцев и китайцев с Дальнего Востока. У нас часто говорят, что выселение началось во время войны, но это не точно. Николаевский и Валентинов тонко показывают, что те методы, которыми руководствовались при выселении калмыков, татар, отработывались много раньше и на жителях российских земель — на казачестве, на немцах Поволжья, а до этого на китайцах и корейцах. Приводится цифра: с Дальнего Востока выселено три — три с половиной миллиона человек. Значительная часть отправлена в поллярные края, в Якутию. Руководили операцией Дерибас и Никишов, знаменитый потом начальник Дальстроя. Фамилии названы, факты собраны. Разумеется, это мемуары каких-то очевидцев, наверное, пленных.

Далее идет анализ одного из самых известных дел — Кубанское дело. 1932—1933 годы. Кубань — зажиточный край, с особенно сильным кулацким сопротивлением. Размеры выселенных — два миллиона человек. Репрессировано, умерло в тюрьмах и расстреляно — приблизительно одна четверть. Например, станица Александровская, в ней было две тысячи человек, а стало двести.

Вторая операция — Тамбовско-Воронежская. Основная идея заключалась в том, что Тамбов — традиционно бунтарское место еще со времен антоновщины. Поэтому там проводились огромные принудительные акции, правда, без смертной казни.

Еще одна операция. Считается, что после дела Кирова «чистили» только Ленинград. На самом деле, существовало кодовое название всей операции — «Шесть городов»: Москва, Ленинград, Киев, Харьков, Ростов, Одесса, в результате чего на выселение было отправлено около полумиллиона человек.

В 1948 году Николаевский вполне научно пишет: «Китай, несомненно, скоро выступит против Чан Кай Ши, будет красным, а еще через десять — пятнадцать лет отделится от социалистической системы. Уход Китая неизбежен». И они с Валентиновым уже моделируют возможные отношения между Китаем и Советским Союзом, хотя Китай еще не стал «красным».

Далее оба обрушиваются на западный империализм. Колониальный мир распадается, революция идет, левые силы растут. Колониальным странам подбрасывают доллары, когда у них наводнение, что только усиливает классовую борьбу, революционное движение. Надо бы лучше эти доллары дать тамошним феодалам, чтобы они отдали землю крестьянам. Запад должен там устроить свою, по-своему сделанную революцию, иначе их оттуда погонят поганой метлой. Вот примерно такой, вполне грамотный экспертный анализ.

Какие варианты видели Николаевский и Валентинов для развития Советского Союза? Вариант первый: сохранение сталинизма. И тогда крах. Дело в том, что они уже в 1946—1948 годах

видят наступающую вторую промышленную революцию. И хорошо понимают, что Сталин этого не видит, поскольку в Советском Союзе кибернетика, генетика — все это лженаука. Наиболее вероятным для них представляется второй вариант: закамуфлированный сталинизм. Кто-то из «птенцов сталинского гнезда», как выражается Николаевский, даст смягченный вариант сталинизма с некоторыми отступлениями, что в конце концов продлит режим, хотя принципиально вопроса не решит. А затем два эксперта-эмигранта посоветовались и даже почти перестали разговаривать — из-за споров о будущем России. Николаевский утверждает, что тоталитарная система в нынешних условиях не может эволюционировать в демократию. А Валентинов говорит: «Еще как может!» У него даже проскальзывает мысль, что только из тоталитарной она и может вырасти.

Разбирается и третий вариант — движение к парламенту, возможность существования в будущей России мощного государственного сектора с приличным частным и кооперированным. Многоукладная система. Будет ли это через десять, двадцать, тридцать лет — неизвестно, но все три варианта будущего российского развития даются с достаточной убежденностью.

Оба торопятся, им жалко времени. «Мне шестьдесят девятый год, — пишет Валентинов, — по русскому возрасту даже многовато».

Они оптимисты. Берберова в одном письме замечает: «Каждый истинный демократ обязан быть оптимистом. Иначе он не верит в массы — какой же он демократ». Николаевский пишет: «Если не быть оптимистом, жить было бы нельзя».

На этой ноте завершается переписка Николаевского и Валентинова.

В Стэнфордском университете я свой цикл лекций объединил названием «Связь времен». Связь XVIII—XIX веков с сегодняшним днем. Для этого мне надо было изучить людей, которые одним концом биографии уходят во времена Герцена и Плеханова, а другим — в наши дни. Оказывается, все довольно близко. В 1935 году эмигрант-историк Сватков пишет, что его матушка в Таганроге в молодости училась у престарелого Павла Александровича Радищева, сына Александра Николаевича Радищева. Он выучил матушку, а матушка выучила Сваткова. И он даже по-французски говорил с женевиским акцентом. Потому что матушка говорила с этим акцентом, так ее выучил учитель Радищев, который выучился у своего отца в конце XVIII века, а у отца учитель был из Женевы. Значит, этот акцент передан от учителя из эпохи Екатерины II через несколько звеньев человеку, который дожил до начала второй мировой войны. Но это нормальное явление. Все переплетено, и все оказывается необычайно близко. Вот эта связь, этот стык времен и есть моя тема. И если в моем рассказе произошел перехлест в сторону современного, то только оттого, что Николаевский и Валентинов для меня олицетворяют эту связь. Роль этих людей, как и честных, серьезных ученых в нашей стране, будет возрастать. Термин «эмиграция» начнет стираться. Все понятнее будет, что у нас единая культура. Все больше и больше мы будем оценивать подвиг тех, кто не впал ни в пресмыкательство, ни в черную ненависть. Несколько десятилетий тому назад мы поняли, что не можем обойтись без прозы Бунина; сейчас мы понимаем, что в литературе не обойдемся без Ходасевича, Ремизова, Набокова. И все больше и больше будем понимать тех, кого раньше называли социал-предателями, эсерами, меньшевиками, и прочая и прочая.

В данном случае я старался представить вам значительных деятелей русской науки и культуры.

Публикация
Юлии Мадоры-Эйдельман.